

«ПО МОКШЕ НА БЫКАХ»

Рассказ

— Как, не о чем писать? — бабушка зашивает фартук. Она скусывает нитку, глядит в темные окна на ночную улицу. — А ты напиши, как я жила, жизнь мою напиши. Как двоих детей, водовая, без мужа поднимала. А водовой осталась двадцати лет только.

Война началась, Гриша мой поехал в город Сасово, по колхозным делам послали его, да по дороге гранату и поднял. Ученья, что ли, были, потеряли, что ли, ее, гранату-то эту. А он её и не видел никогда, что за штуковина. Может, колечко удумал в подарок дочери с гранаты снять, или так ли чего, из интереса, кто теперь узнает. Дернул за кольцо. Игрушек-то у матери твоей не было. Тряпочная кукла: головка с кулачок, я уж ей сшила из лоскутов. Любил он дочь-то, Вальку, без памяти любил. Зацеловывал. Она вырывалась, ох и кричала: в крик! Смешно. Ей, для неё,

я так думаю, и сорвал кольцо-то с гранаты, ей, дочери, твоей матери в забаву и подарить хотел. У него в руках граната и разорвалась. Вмиг убило, ран было — не сосчитать. К чему он ее поднял, судьба ли его такая. То ли, или уж — тому быть — не миновать. Или так совпало... Не знаю, Бог знает... Ведь вон куда ехать-то надо было ему, от колхоза Клары Цеткин до Сасово. А жара! Пекло было, с ума сойдешь, курослеп вял от жары. Он, видать, сердешный, — пока туда-сюда ехал на телеге, и угорел. Спал, сердешный, в тот день часа два...

Телега по дороге: грым-грым. В тени не посидишь, всё на солнышке, угорел нешто...

Я пряла и сразу сердцем поняла, что что-то случилось. Все бегут молча мимо моих окон да на окна мои смотрят. Инда обмерла я. Так и есть. Бяда кака-то по мне пришлась. Он и в гробу лежал худой, как стручок, родимый-то наш.

Бледный, белый. Нос вострый. Такой жалобный. Только, ох! Ай и мучилась я одна-одинешенька. Ох, и страдала. Какой-никакой, а мужик был. А тут одна. Водовая. Легко ли, легко ли, двадцати одного года на всю-то жизнь одной. Живой смерти не ищет, сама она его стережет. Это – я про него, Гришу. А мне каково. Эх, – «пропадай-тони моя котомка, абы я на берегу была». Жить-то надо...

Всю деревню обшивала, за гроши, бывало, да за еду. За остаток ситечка от чужого платья ночей не спала. Засну на кулаке, проснусь – и во двор, к скотинешке, и опять строчу. Строчу и строчу. А своим вот не могла сшить, матери твоей, Вальке, да сыну Коле: не из чего. Из лоскутов, бывало, из чужих остатков, вот мудруешь-мудруешь... С тем и возьми. Говорят: сапожник без сапог, так и есть, так оно в жизни и бывает. Не из чего

шить было, бедность. Ой, и хлебнула я горяшка! Всем, у кого на войне отцы да мужья погибли, – все налоги им скощали до семи лет. А мне нет. «А твой не на войне погиб...», – один ответ. «Да ведь он на лошади не по своим делам поехал, по колхозным!» Где там! Шла пехота – потеряли, что ли, ее, всё думаю я и теперь, гранату-то, «лимонку». На грех-то его и понесло этой дорогой. Нет уж, от смертушки – от неё не уйдешь. Его и забрать-то вот-вот должны были, в армию-то, на фронт. Всё равно, поди, не уберёгся бы. Терентий, второй твой дед, всю войну прошёл, а Грише моему и повоевать не пришлось. Сватали меня потом много раз, не пошла. Убежала, до чего стыдно. «Глупая ты, – говорили, – выходи, берет ведь замуж-то. Не всем такое счастье». Мужиков-то не хватало после войны, ой как. Частушку сложили:

«Дорогой товарищ Сталин,
Ты не знаешь ничаво:
Шестьдесят четыре девки
Обнимают одного!»

Да этот ещё и в паринях, не женатый еще ходил, сватался ко мне который, теперь и не вспомню, как звали-то. «Нет и нет, Грише и год только-только, года нет ещё, грех...» – «Да он согласен, подождет, мол...» – Я: «...нет и нет». Ох, и пожила я, победствовала, Вася, и сказать не знаю как. Бывало, бегу с колхозу-то, уж вечер, бегу да все смотрю: нет ли дыма от Смирновки, работали-то вон где: в Клары Цеткин – совхоз, туда шесть верст, обратно шесть, бегу и смотрю: «Ой, никак дым от Смирновки, уж не мои ли там избу сожгли, спаси и сохрани. Или туман? Бабы, горелым не пахнет?»

Ни помощи, ни пенсии, да двое детей мал-мала меньше... Напиши про меня... Вот... Забрали свинью вперед у меня, за налоги. Стащили на колхозный двор. Я пришла, «за палочку» работала, – пришла молить-просить да в слезы. Мне: «Плати налог!» Стала искать, чем мне платить, платить нечем. Свинью не отдают. Вперед шерстью думала отдать. Шерсть берегла, еще от мамки осталась она, мамкину шерсть, пуще зеницы, очень хорошая шерсть была. Пришлось променять её на плохую, чтобы больше дали. Дали в два раза больше, сдала шерсть. Глядь, опять приходят. Да что вы ко мне пристали,

ой, ой. Ну, я давай председателю самому поить. Раз прошло, а во второй – всю скотину свели, матушку, со двора... Ой, и орала я, недравым орала... Как на похоронах. Это вот как Петя Большой: поумирали все в деревне-то в нашей, кто ушел, кого дети забрали, да разъехались, – он теперь, Петя-то, в деревне один зимует, – сам себе барин, вольный казак, всю зиму по пустым дворам шастает, ворует, у кого и что хочет. Ну и тут ко мне такие же воры пришли.

Свели они всю скотину у меня, и корову, и ярку. А без молока тогда умирали, опухали, вот ведь какая жизнь-то была, Вася. Теперь старая да живу, а тогда я молодая была, а жить не хотела: вдовой – какая жизнь, сердце всё почернело. Я – реву, и они, дети мои, режут: одной три, другому пять. Да только их, тех, что за скотиной пришли, разве разжалобишь слезами. Да... «Ну, давай полторы тысячи». А деньги дорогие были тогда, не как нынче. И тогда все со строгостью было. Ой, всю-то дороженьку шла я за скотинешкой: «отдайте!» – «Да, ну тебя Польшка, чего концерт устраиваешь, иди домой. Приказ у нас. Иди, деньги найдешь – вернем скотину». Пошла я из сельсовета со слезами домой, ой, иду – от слез дороги не вижу. Валька да Колька мои голодные, уже и не режут в рев на холодной печке, только всхлипывают да икают.

Заняла я по дворам полторы тысячи, отдала за налог. Показала квитанцию. Забрала скотину. Да, скотину забрала, а они опять идут: «Давай еще полторы тысячи». Ой, да что вы привязались, что вы меня угробляете, у меня ведь двое детей, голодных в смертушку, грех-то какой, осиротите, Бог не простит. Да, вот так вот глянул

уполномоченный-то, брови-то повесил: «Бог? Какой ещё Бог...» И-и, плакала я, обшивала их, весь сельсовет, ночами не спала... Поила, сколько перепоила им самого-ну, чтоб налоги скощали. Вот как теперь Петю Большого пою, чтобы не лазил зимами, не воровал у меня. А он все равно ворует, вот и возьми его... А поди – спроси – он: «Не я!»...

В тот год послевоенный – только сено и радовало. Сено косила, я и оживала мало-мало: какой мне пай попал на дележе, какое хорошее сено, все-таки есть Бог на свете! Отава-то, хоть и вон где, за рекой. А косили так: себе стожок – государству стожок. Накосила, высушила (вон ведь куда ворошить-то бегала за реку, сколько вёрст. Ничего, ничего, дал Господь, подняла обоих). Высушила, скопнила, тут забирать надо.

Там забирают-везут, там забирают, надо и мне, далеко ли до греха, уворуют. А пока я за лошадьё ходила, пока договаривалась, так то тоже, поди, не давали лошадьё... Сторож мое сено, все сено-то моё и продал. И-и! Занемело сердце, инда зашлось. Пришла я, а он: твоё сено украли, бери это, да какое-то плохое. «Бери такое, а то никакого не дам». Нет, они, коммунисты, тоже не правы. И вот еду я с чужим сеном, плачу ручьем, да возьми и скажи, пожалилась встречной, так, мол, и так, сено украли, не без начальников обошлось. Оказалось, это сено, что дали мне, как раз её и есть, Маши Охремкиной. Той бабы, которой я и пожалилась, поплакалась. Он, сторож-то, её сено мне и отдал. Она как прознала, тут и ко мне, тут и давай ходить, поленом в окна стучать: «Отдай сено, Польшка, отдай, цыганка!» Вон как меня, цыганкой обзывала. Дети

под печь от страха, как барсучатки, лягут, притихнут, а та пуще стучит: «Отдай, хуже будет!» – «Не отдам, не отдам, Маша, хоть убей, не отдам». – «Ну, я на тебя в суд подала!» Я на другой день с работы, только детей глянула, оставила одних да не евши в Сасово залилась, тридцать километров в одну сторону. Есть тут на меня заявление?»

«Нет, – говорят, – нету». Ну, мне и полегло. Я оттуда по пути – прямо к сторожу в Кошебеево, где мне пай мой давали: «Ах ты, гад такой! Ты моё сено продал? Я найму, тебя убьют!» А сама бегу и оглядываюсь, кой там «найму», сама бы не убили...

Пришла ночью, а мои – так и заснули голодные на холодной печке, друг дружку греют. Обняла я их, губы кусаю, ох, и горька моя жизнь! Я плачу, а они успокаивают, проснулись, гладят меня по голове, да, они гладят, а я губы кусаю до кровушки да причитываю: «Ой, да где волки рысучие, хоть они пришли да растерзали нас на кусочки. Ой... Да где же вы, идите, чтоб нам не мучиться, не голодать, не холодать, с голоду не опухать». А они, глядя на меня, и ну сильнее со страху жаться ко мне. Дети плачут, чумадые, скотина на дворе не кормленная орет... И решила я сено, чтоб сохранить его, к брату свезти в соседнее село, в Рожково. А уж лед на реке пошел. Сверху лед, подо льдом сало, шуга, гуляет. Да тонкий еще, лед-то, идти – и то страшно, а моста нет, темны заводи ледяные. Так и поехали на быке, да вон куда, через речку. На быках тогда ездили, лошадей забрали на фронт. На середине реки у телеги подушка – хрум, упряжь-то и отстала. Ба-атюшки мои, ну, утону нешто. Я по-бабьи быка за

хвост привязала к возу, хвост-то и оторвался. Как я на тот берег перебралась, до сих пор не помню. Богородица ли перенесла, не знаю, не знаю...

Настрадалась я, Вася. А тут Сталин умер, мы все и перекрестились: не уж налоги скостят. Вот как жили-то. Фартук зашила, вот и твоя рубаха. На-ка, носи, готов рукав, поносишь еще, годится хоть за грибами. У соседки громом убило мужа, и то налоги не платила, а я... Нет-нет, коммунисты, они тоже были не правы, не правы... И эти, что пришли, обротали, оголили. А и тогда не жизнь была, мука! Эх, да что говорить, не любят они нас. Кто? Да вот эти самые, власти».

Я слушал её и смотрел на бабушку пристально: что это за народ. Сколько вынесли они на плечах своих. На быках через едва схватившуюся ледком реку... Из совхоза «имени Клары Цеткин»... Откуда, каким ветром занесло к нам эту самую Клару, да ещё и Цеткин. Кто она? Или она именитый агроном-технолог? Или – овощевод, табаковод ли? (Здесь, под Рязанью, в Сасове – в былую пору выращивали отличный табак). Как эта дама Цетрик (если правильно называть), рожденная где-то в Германии, в Саксонии, прожившая едва ли не всю жизнь во Франции на Монмартре с Фридрихом Цунделем, – как попала она сюда своей демонической тенью... Какое отношение имеет она с подругой своей Розой, – развратнейшей особой, – к моей родине, к рязанской земле моей? К моей бабушке Полине Тимофеевне Пупочкиной? Что случилось, что перевернулось там, вверху, у престола Божия, как он допустил такому свершиться? По грехам, вразумляя? Не знаю.

Привезли пепел этих демонов и заложили урны у Кремлевской стены. Сорвали иконы надвратные в Кремль, переживший Наполеона!

Как случилось это, как их, истинных мучеников, родителей наших, с трудовыми руками, лбами намоленными – их, предков наших, принудили поклоняться каким-то Цеткин, Бронштейн, а до него – Блюмкиным, Цедельбаум.

И Дзержинским и Розенфельд-Каменевым, – умолять стали их, а не Бога самого – о сохранении детишек своих, и о возвращении мужей с войны, самой кровавой и страшной войны в нашей истории? Как и за что попущено было всё это?

Я обнял бабушку, она погладила меня по руке. Глаза её были в слезах...

«...А ЛЮДИ – ТЕ ЖЕ...»

Рассказ

Ясный полдень над деревней, если можно назвать деревней овраг с облепившими его избами, именно избами, а не домами, полуразрушенными, брошенными пятистенками. Дома мало-помалу пораспродали, хозяева разъехались по городам. Иные, годные для проживания, купили дома. Разобрали на части и перевезли в город, в Центральную усадьбу. Те, что купили и не перевезли, прохудились здесь, на месте. Крыши потекли, пропустили внутрь себя мох и плесень. Так и сгорели – истлели изнутри от влаги. Так сгорает мало-помалу заболевший хронически, неизлечимо, человек... Остались стоять лишь убогие избы, которые не продать. Но в которых жили и латали крышу, хотя бы изредка, наезжали на лето на родину сельские жители.

Да и нет на них покупателя. Приедут хозяева этих изб, покосят от крыльца и через сад напропалую вымахавшие травы, порубят борщевик отравленный, подремонтируют пол, кровлю. Половят рыбку, поковыряются в огороде, – да и зальются опять в города, только

их и видели. Опять в города, ближе к теплу и удобствам, к скопищу людскому. Этим теперь только и выживешь. Время такое: как овцы в буран, жмутся в одну большую отару. Непогода над страной, непогода.

Умудрись-ка прожить, проживи один или малой своей семейкой. Оно и в отаре так: сена да клевера – тоже не даровые. А что до нервов, до «стрессов», то и в отаре так: наступают на ноги, толкаются, шарахаются овцы – от угроз, скорбей да болезней. От незнакомых звуков, поветрий инфекций, мора. А ветра в многоэтажных домах-башнях, новостройках, вверху – ещё круче, чем в раздольных полях. Только скопом всё-таки надежней.

Все в этом «лучшем из миров» сбиваются в стаи и стада, чтобы выжить. Все выживают. Вот и хозяева брошенного села подались по скопищам городским, в поисках безопасности. Тянет, конечно, тянет вернуться домой, босиком пройти по земле извилистой тропкой, намокнуть по пояс в росе. Поваляться в стогу сена.

Ностальгия по молодости – едва ли не самая крепкая из всех тягот на этой земле. Самая крепкая связь – с молодостью. Когда всё порушено – остается только память. Говорят: «надежда умирает последней». Нет, не так. Даже и тогда, когда надежд уже нет, не осталось, память всегда с нами. Так, на память, как во тьме на костерок, вернулся военный человек к тому, что осталось в деревне, и к зятю своему. Ходил по селу, как по погосту. Молчал угрюмо. Мать ушла, и сестра ушла. Не выдержала непогод и нищеты. Да разве только она. Того нет уже, этого – то же: «Молодые же были, – куда... Весёлые. И вроде вчера это было. Какой ветер унёс? Вот что обидно... Эх-ма, на большой земле, как на острове». До помощи не докричишься.

На многие и многие версты голые поля здесь поросли самым глухим березняком да лещиной, осинником. Развалины овинов, пунек, скотных дворов. Стропила с обрешетником – как ребра дохлых кляч. От всего остались лишь следы да остовы. Редко – стены. Чаще всего бетонные эти стены бывшего коровника совхоза-миллионера – сами по себе. Свидетельство того, что и здесь кипела жизнь. Самая бойкая и трудовая.

Бревенчатые же избы и скотные дворы здесь давным-давно истлели. Прясла и заборы догнили так, что уже и не понять, где и чье было.

Не прошло и двадцати лет, когда в этой самой деревне соседи хватались за вилы из-за межи, из-за пробившейся в огород козы или свиньи. Брались за топоры и ссорились из-за делянки на порубку дров. Из-за охалки цветочника в лесу, что нашмыгали серпом,

«украдкой». Теперь всё брошено, запущено, оскудело...

...Два мужика в подпитии бредут на рыбалку с бреднем. Перемислокация долгая, в несколько километров: от реки к озеру...

Двое подростков и девчонка – за ними следом, то отставая, то обгоняя в своих не понятных взрослому детских непоседливых играх. И вот идут – мотня от бредня тянется и подпрыгивает, то по траве, то по дороге. Змеей зеленой вьется под ногами, поигрывает, блестя грузилами новыми. Подхватывать эту мотню надоело. Как бабью юбку или шлейф царицы. А не подхватишь – бредень порвешь. Зацепишь за колючку или кустарник, потом дратву сучи, зашивай.

– Мотня у бредня – первое дело, береги её, – наставительно говорит военному сутулый чернявый плешивый мужик. Он выглядит старше своих лет и идет труднее, запинаясь. Держи мотню!

– А то я не знаю, – отвечает военный. – Поучи меня.

– И поучу. Мне же латать-то. Ты сейчас придешь, рыбки нажаришь. Шапку в охалку – и в город. А нам тут век вековать.

– Что, обидно?

– Обидно. Одна Москва и жирует. Остальные копаются, как жуки в навозе.

– Уж это точно, так и есть. Ну, какая тут жизнь? Прозябание. Неделю-полторы пожил – и хоть волком вой.

Поплавки из пенопласта, древние, тоже прыгают в траве, играют и желтеют костяной мертвенной белизной, легкие, невесомые. И клячи бредня так захватаны до глянца, тоже голые, липовые, костяные.

Тащат тяжкий мокрый бредень рыбаки по очереди, в ногу идут –

точно гроб несут. По очереди, то – мужики, то двое мальчишек. Все изъедены слепнями, издерганы, усталы и злы. Босоногая девочка семенит следом за ребятами, и кажется – только ее одну и радует этот ясный полдень, это недалекое уже и ослепительно открывшееся широкое озеро с темно и чернильно-синим отраженным в нем берегом и широкими ветлами по ту сторону.

Впятером сбегают они под крутизну оврага. Дальше идти по камням, по дну неширокой протоки, по холодному устью родникового распада.

Каменистые берега поросли мать-и-мачехой, дно – водорослями. Они трепещут и двигаются под водой, как бы на сквозняке, подчиняясь подводным течениям.

– ...А все он виноват, – словно продолжая прерванный диалог, гудит один из мужиков, деревенский.

– Кто это «он»?

– Беспалый. Вот кто. От него такой упадок пошёл...

– «Беспалый»... А ты-то где был?

– Кто, я? Там же, где и ты. Еще спроси, где я при Хозяине был. Я на ту пору только в чертежах собирался. Я из тех же ворот, что и весь народ.

– Пустой это спор, давай закончим. Сто лет в обед, как Беспалого нет, а он всё помнит, чуть что: «это Беспалый виноват!» Это он, что ли, Беспалый, деревню разогнал, хребет сломал крестьянству?..

– Да где тебе понять суть. Ты же армейский, из войск в деревню носа не казал.

– Какой там «хребет». Становой хребет, понятно, кто крестьянину и до Беспалого сломал. Ус,

«Хозяин», как ты говоришь, и сломал.

– Ещё чего не скажи! После Хозяина Хрущ был. Этот участки-то порезал, не кто-нибудь. Всех обмерял... А Ус – всё правильно вперед вёл. Давным-давно доказано уже, что так и надо было. Только в коллективе и выжила Рассея. Налоги – это да, вот тут перебор был, конечно. И явно перебор. С другой стороны – и город работал, не жалея себя. Все пахали на... «индустриализация», слышал про такое слово? За пять минут опоздания на работу посадить могли, ты понимаешь? Опоздал на пять минут три раза – срок! Вот как страну-то эту поднимали. А эти пришли – растащили по карманам живо, в несколько месяцев! – Крестьянин кормил рабочего. Рабочий создавал плуг и ракету. А без этой ракеты нас давно растоптали бы. Уже планы были готовы. Уничтожения. От американцев. Не подразверстку же было каждый год учинять, вот – и налоги. А результат: как весна, так понижения цен ждали, как весна – так понижение, а теперь что? Не мне тебе говорить, сам знаешь... Вот он и выдернул вас всех, это он, это Ус, в города! А в деревне-то кто остался, излом да вывих? Ко времени нынешнему кто остался из мужиков? Ни-ко-го. Я да Миша Охремкин. Крышка.

– Кто хотел уехать, тот уехал. Кто не хотел уехать – оправдания искал.

– До Хруща-то не очень уезжали. Не уехать было. И правильно. За калитку без справочки-то не выйдешь, вот оно как было. За справочку красивые бабы начальству давали. Крепостное право, вот так было-то! Паспорт получить мудрено было. Да и бровастый ещё

держал вот как! В деревни: клубы строили, дороги, а теперь что? И вовсе – швах. Каюк. Капут. Молчи, могила... А до пятьдесят третьего жили строго... Не забалуешь. Это тебе не нефть да газ налево спускать... Да еще и закон придумали этакий «неприкосновенность частной собственности». Не добавляют, что собственности, награбленной ими же самими у народа. Значит, у нас – грабь, а что у них – не трогай. Пересмотра не будет.

– Это чтобы не очнулся народ и не пересажал их, не перестрелял и не отнял переписанное на родственников, наворованное, народное. Это в какой еще стране есть такой закон, чтобы жулик узаконил воровство? Или вот это: «материнский капитал», четыреста с чем-то там тыщ за рождение второго и третьего. «Плодитесь да размножайтесь». Ну, четыреста, и то не наличными и когда-то в будущем. А ты ребенка из роддома принёс, а дальше как? Работы нет, заводы все скупили под аренду. Сельское хозяйство на боку, и четыреста хрен возьмешь...

– Купить хотят. Опять купить. Опять ваучеры придумали, только теперь – на детей, в рассрочку...

– А украдено сколько? Триллионы по госзакупкам. Этот, твой генерал – «Табуретка», бабы его – по восемь с гаком... миллиардов. Миллиардов ведь, не миллионов! Вон куда! Воры!

– А когда Хозяин умер в пятьдесят третьем – ни рубля, ты слышишь, на счету у него не было. Ни у него, ни у детей. Только китель да рваные сапоги. Дырки он прорезал на суставах большого пальца. Страдал подагрой, и вот, чтобы не терли ноги, сапоги-то. Он сам прорезал. Шишки были на ногах, как у

моей жены. Сестры твоей. Он мог золотые себе заказать, а он дырки вырезал. И не воевали с союзными республиками, заметь, никогда не воевали. И мысли не возникало. К двадцать четвертому всё покончили, всю рознь.

– Да ты еще скажи, что на него молиться должны.

– Нет, не скажу так. Молиться, пожалуй, не должны.

– Я приехал из города к тебе. И ты – жив, и рыбу с детьми ловить идешь. И сыт, и пьян. И идешь ты только потому, что нас ни разу не отбомбили янки. Ни разу, заметь.

– А почему? Просто потому, что Хозяин был. А теперь нет Хозяина. Сказано: «принял Рассеюмать в лаптях, с сохой, а оставил с атомным оружием...» Вот голову задурили вам, военным... «Я жизнь за Россию отдам», и прочее всё в том же роде...

– «Задурили». Слово-то какое! Ты лучше скажи, назови, сколько стран отбомбили за эти года, та же Америка. Много? Вот именно. А нас, однако, не тронули. Почему? Потому: ядерные ракеты есть. И «С-400», и гиперзвук...

– А спасибо кому? Уж не оплеванным ли «шарашкам»? Не Усу ли?

– ...Он опять за своё!

...Но вот уже и широкое озеро с отраженными в нем берегами. Высоко пролетает самолет. Бахнул где-то далеко, преодолевая сверхзвуковой барьер, и всё трянуло, вздрогнуло всё, – и пошёл ещё стремительнее, превратился уже в яркую блистающую в синеве точку.

Наметился обоюдоострый след в виде белоснежных линий, похожих на вытянутые перистые облака-борозды... Стали редеть и расплываться, расплылись белые

воздушные борозды. Словно там, в небе, идет посевная: космическим плугом на бренную землю сеют нечто божественное, светлое, чистое. Но земля не принимает эти посевы. Брошенная всеми, она обижена на людей. Заснула земля, обморочно, глухо. Поля и посевные поля взялись мусорным лесом. Осинником непролазным, березняком.

– Вон он, вот где уже: над нами, смотрите! – ребята в восхищении замерли, глядя вверх. Девочка тоже очарованно – долго, до слепоты – глядит на самолет изпод руки. В синее и сияющее пространство, провожает взглядом. Там, вверху, – светло, радостно и ослепительно. Там – праздничная глубь и голубень, а здесь, на земле, уже хмурится, уже ярится от низкой, только что наверху тучи, похожей на огромную гору с налипшим гигантским пером-облаком.

Туча грозит дождем деревне со всеми её стоящими на пригорке, точно с остатками разбитой армии, брошенной после боя техникой, нерабочими тракторами, сеялками прицепной тяги, плугами полуразобранными, давно уже нерабочим динамо и всяким хламом в бурьяне.

Туча всё наплывает, грозит дождем: и вишневым садам, и кустарнику облепихи, малиннику вблизи с водонапорной ржавой башней. Башня, как вознесенная вверх граната, грозит и самим рыбакам, им не укрыться.

Раскинули бредень, забрели два раза, – и вот уже девочка сидит на берегу с ведерком, доверху наполненным рыбой, мелюзгой, скребущими по дну ведра раками и плавающими сверху, налипающими на все, и на руки, и на деревянную ручку ведра-подойника,

рыбьей чешуёй, водорослями. Живое рыбе движение в отяжелевшем ведре, скрежет раков по дну.

Берега озера как бы прогнулись под тяжестью воды, сплошь заросли кугой, кузьминником, травой и тиной. Глинистые берега в гусином пуху – точно обтесаны топором, одновременно напоминая и сруб дома, и зачерствелую краюху хлеба. Берег на другой стороне – песчан, испещрен норками стрижей; они летают и звенят над головой. На середине озеро ослепительно сверкает ветровой рябью, морщится и чуть плещет, а здесь, у берега, где лишь подводные заросли куги да водоросли, гладь зеркальна, как чистый лед.

На отлогом травяном склоне, на лысом месте, мужики, взрослые рыбаки, уже выкупавшись и потеряв всякий интерес к рыбалке, приканчивают остатки снеди. Тусшат костер старым проверенным способом: попеременно мочатся на него, отворачиваясь от вонючего едкого пара.

– Ишь, шипит, как в бане на каменке, – тряся ширинкой и плюя на пальцы, туго увязывая ремнем штаны, говорит малорослый и кричит: – Эй, заканчивай, робя, не будет рыбалки, ветер пошел.

Второй – высокий, образованный, пожилой военный, молча и пьяно, с блуждающим счастливым взором заедает чарку зеленым луком. Двое мальчишек, сыновья малорослого, не переставая, с охоткой таскают и таскают бредень, процеживают воду, закидывая мотню возможно дальше и обредая кусты поближе, там, где явно ходят шуки. Изредка выпрыгивают они и ударяют под кусты над водой. Щурки играют до обидного рядом – рукой схватить.

Бредень становится все тяжелее: с каждым забродом набирает он, выцеживает тину. Тяжелеет не от улова, а от жидкой и вонючей осоки, вездесущей мелкой ряски пополам с пиявками и воняющей густо лежалой гнилой тыквой – подводной травой. Оба месят ногами тину и глину – так заправские горшевники или виноделы топтали бы лозу и гроздь.

Увязают, и с трудом выдирая ноги, выбиваясь из сил, борются и тянут, тянут за клячи – за две деревянные палки, накрепко притороченные к сети. Низко-низко они выводят мотню на сушу – так низко, что, запинаясь, и сами валятся. Но бойко вскакивают, с перепачканными ногами подхватывают сеть так низко, как драгоценную фату невесты, и выводят её на берег. На ногах у них по одному осталось ботинку, остальные потеряны в тине навсегда. Высокий костистый парнишка, один из них, особенно деловой, сразу видно, что деревенский, здешний, – добытчик. Умело освобождает зацепы, вытряхивает грязь. Второй путается в крыльях бредня и отступает – с каким-то особым удовольствием достает то рыбу, то рака и швыряет через родниковую протоку девчонке. Раки, один за другим, пролетая над ней, так бьют хвостами налету, что она жмурится и замирает от страха.

– Любаня, лови! – и хохот озорников...

И опять заходят, оступаются и падают среди осоки.

– Вань, – заговорщески говорит старший меньшому, – ты давай круче заводи, распугиваем зря...

– Больно хитрый, сам заводи, здесь глыбко, поди что – и с ручками будет. – Он осторожно оступается, измеряя глубину. И действи-

тельно исчезает под водой с головой и с поднятыми вверх руками. – Давай, ты заводи, вишь, тут что... – тоже заговорщески, чтобы не спугнуть рыбу, отвечает Ваня.

– А ты саженками.

– Сам саженками...

Дождевая туча сходит, сошла на дальние пригорки, и посветлело... А девочка все сидит и смотрит на серебящиеся от порывов ветра ивы, на горизонт с побитой техникой, на кучерявые причудливо расползающиеся облака.

Они мало двигаются, как замороженные или околдованные. Небесная непорочная их белизна, – юна, как эта девочка. Она же сама, девочка, жалко стройна и хрупка под ними и беззащитна. Худа, бледна и как-то особенно мала и беспомощна, как бывают светлы изнутри только безнадежно больные, уже сросшиеся душой со своей болезнью дети, – редкой и странной, необъяснимой доброты.

...В ведре подле нее время от времени всплескивает щука, и тогда девочка хватается за ведро, чтобы оно не опрокинулось. Расставив врозь острые коленки, упершись руками и прижав ведро, она сидит и, кажется, не замечает ни ветра, ни холодного сырого платья, туго обтянувшего её голени. Она бережёт улов.

Неподалеку стая глупых домашних уток наплывает прямо на бредень, на желтые поплавки его, но она даже и не пытается отогнать их, словно обессилела.

– Эй, – кричит ей один из ребят и грозит кулаком: – Ну, ты получишь.

– За что ты ей, – спрашивает второй.

– А чего она, отогнать не может или не видит уток, маргышка. И всегда вот так, пока не задашь

ей взбучку, ходит-спит... Мартата, маргышка незадутая. Утки от неё – и прямо к нам, чего тут теперь поймашь?! Всю рыбу распугали.

...Там и здесь сохнут кочки водорослей, давным-давно разными рыбаками вытряхнутые из бредней. Кочки эти так подсохли, что стали рыже-серыми, похожими на дохлых ежей. Видно, что рыбачат здесь часто и что «рыбачат» бреднями приезжие, по причине скуки да их привязанности к водочке.

Нелюдимо, пусто, слышен крик петуха за гумнами, за холмом стрекочет лесопилка – единственная мечта и единственная надежда работного люда, всей здешней безработной округи, тех редких мужиков, которые не спились еще окончательно.

Двое взрослых доели припасы, выставили высоко пустую бутылку на кромку полуямы-костровища, как выставили бы бутылку на бруствер окопа солдаты, для того чтобы подразнить противника. Потухший было костер вновь стал оживать, начал поигрывать огоньком. Один из мужиков принялся собирать облупленным яйцом остатки крупной крупитчатой соли с промокшей газеты, другой заворачивает в целлофан и прячет в кошель соленый огурец, озубки сала, пачку сигарет и, жуя с колен, ведет разговор:

... – Не-ет, говорю я ему, слышь-ка, сват, это я-то ему, баю: «Ты вернешь мне сошник!?!»

– Ну, ну...

– Вернешь! – повторяет он с угрозой, пристукивая по спичечному коробку толстым пальцем.

Он угрюмо, пьяно и зло дурашлив. Малорослый, по пьяным причудам своим, по неловкости своей кажется чем-то схожим с

насекомым, с жуком-рогачём. И кличка прилипла к нему: Жук.

– Верне-ешь, ядрена-матрена...

– Это ты-то ему?

– Я!

– Ну, ну... – опять произносит высокий и статный военный.

Он все еще полулежит на боку, жуя лук с зелеными перьями. Он слегка, едва заметно сутул той сутулостью, которая легко скрадывается привычной выправкой военного чина. Ему, как это видно, давно уже надоели эти пустые разговоры, про деревню, про политику, про хомуты, и про то, как «надо взять на конном дворе лошадь, если она нужна, но её не дают». Видно, что Жук ему давно не интересен, – не его масштаба человек. Но из укорененной в характере черты: не обострять отношения, особенно с людьми мелкими, он притворяется заинтересованным.

– Ты ешь, ешь, доедай, силу-то не оставляй, а то спьянеешь опять, будешь фортеля выкидывать. Ешь, потом доскажешь, – перебивает он Жука, начавшего ерепениться. Лоб у него крутой, волос светлый и кучерявый. Вид этот немалого чина, приехавшего на день-другой отдохнуть «на родину», – весь вид его, и жизнь, удачно сложившаяся, и взгляд, и сам нерв отношений говорят о том, что он презирает зятя.

Но тут вдруг какая-то внезапная догадка встряхивает Жука с новой яростью несправедливо обиженного рассказчика, он взрывается, свирепеет:

– Иди ты! «Ешь, ешь...» – сам ешь! – с внезапной озлобленностью пьяного вспыхивает Жук. Глаза его начинают косить – это верный признак того, что он опять спьянел и теперь он «не в себе», непредсказуем. – Я тебя перебивал,

когда ты все про полк свой да про политику нес? Теперь послушай ты – про хомуты!

– А-а-а?

– На! Вот с тем и возьмите! Меня за стольник, за бутылку не возьмешь, двести потребую.

– Ишь ты...

– С тем и возьмите...

– Это что, наезд?

– Да, наезд!

– Отъезжаю... Закусывай, закусывай, давай, давай.

– «Давай» этим, как его... подавился.

Жук и впрямь жалок. С ним можно лишь улыбаться да шутить, и то осторожно.

Весь он какой-то сморщенный, худой и вертлявый. Досталось ему, по всему видно, не в пример больше, чем военному. Потрепало его. Скулы с желтым пригаром, щеки побиты оспой. Весь он – наглядный пример того, до чего доводит тяжелый ежедневный изнурительный физический труд, вечно свежий воздух и самогон. Рассказывая о давних спорах, он имеет привычку заводиться сам собой. Снова и снова, что называется, «с пол-оборота»

– Что я, жрать сюда пришел? Я пришел с тобой поговорить, как-никак однокашники. Ты слушай, не перебивай, я кому говорю-то, столбу или дереву? Живот, он старого добра не помнит, не об жратве же речь...

– Ага, да. Ну, про лошадь-то?

– Прихожу к нему на конный двор. Уж на другой день, заметь, на другой. А сено не вывезено, сгниет...

– Ага...

– Прихожу. Лошадь дай. «Нету». Как так нету, а эта... – «Отправил в разъезд...» – «А та?» – «Послал за почтой» – а ещё – та...»

– «Поена, вот-вот только напоил». А сам глазами зырк-зырк. Я глядь, а он – вот он, стоит, стригун, да хвостом машет... – «Ну, давай этого! Оно и любо!» – «Не дам: сосун». А на том сосуне – хоть воду вози. «Ну, иди, – говорит – иди, поймай. Поймаешь – возьмешь» – «Ты выведи, я поймаю». – «В загон?» – «В загон». – «На-ка узду, ты и иди». – «Не хочу, – отвечает, – я только что выгонял... Еле-еле на место, в стойло определил. Сам иди». – А молодые, они брыкучие. убьет чужого. Сразу. Запряги его, попробуй, если чужой, если он тебя не признал.

– Вот стервец! – подыгрывает военный. – Даже так?!

– А я про что? Сел он передо мной, шило, дратва, хомут чинит...

– По горбу ему этим хомутом...

– Да. Я ему: давай-ка, знаешь что? Давай-ка, вертай-ка взад мою электропилу, и пропади ты пропадом. И чтоб ты ко мне больше ни ногой.

– Правильно, без пилы – пусть почухается. Это ты верно. Это не у Пронькиных, за столом не того... Так сломал он пилу-то? Ты же уже рассказывал. А сам починить он не сможет...

– Сам, только сам. Я, друг ты мой, весь в делах, света белого не вижу.

Жук закуривает и тотчас становится и вовсе пьяным, его развозит от табака так, что он удивляет своей переменной настроенности даже видавшего виды военного.

– Рыбалка – она теперь у меня одно утешение. Но кормить перестала и она. Всю рыбу процедили, сволочи. Всю рыбу. Во! Было рыбы, завались. Сомы водились, веришь-нет? А теперь не рыбалка, а пу-сто-е-вре-мя-про-во-жде-ни-е...

– Да, «щуку с руку и линия с меня», помню, помню ещё, не забыл.

– Поди-ка еще и охота хороша зимой? Охота, поди-ка здесь важная. Места глухие, немые, – оглядывая окрестности из-под руки, мечтательно произносит военный. – А? Места-то глухие, немые – нагрнуть сюда по зиме, а? Любо-дорого.

– Да... не охотник я. Трах-бабах, не люблю. Баловство это. Одна достоинства у меня – вот он, парень мой. Парень – моя кровь. Вот охотник-то. Без зайца или петуха никогда не приходил. Люблю я его, черта, уж вот как люблю... А уж озорной, жуть.

– Зато и охотник!

– О-о! Охотник! Иногда притащит, заяц ещё пищит, как ребенок в зыбке. А он нарочно его не добывает. Потому добыешь, остынет. Разделявать тяжело, шкуру мездрить и всё такое – опыт!

И он, глядя на мальчишку, такого же чернявого, как и сам, подумал, икнул и закашлялся от дыма.

Мальчишка шумно плескал, кидал пригоршнями воду, пугал рыбу из куста.

– А... Колюху?

– И-и-и, как Колюху люблю!

– Толковый...

– Ванятка! – крикнул Жук, вставая, а что, бота уже нет, сломали боту? Постучать-то по кустам?

– Утопили боту, она кленовая оказалась.

Военный смотрел на все и явно скучал...

В это время как раз выволокли мотню на берег. Серебряная рыбешка, мелкая, как монеты, посыпалась, трепыхаясь, сквозь крупную ячею сети. Стали вылезать и падать медлительные раки, козявки. Кувшинки желтели, ползли

жуки чёрные, плавунцы. Девчонка кинулась к ребятам и с интересом принялась разбирать улов. Грязная ряска, листья мать-и-мачехи, водоросли... Она возбужденно и радостно закричала что-то – верно, увидела что-то в шевелящейся, в забитой и загаженной ряской мотне. Дужка звякнула о ведро, ведро опрокинулось, и, потирая ушибленное колено, она упала с размаху в траву. И тут же поспешно, с оглядкой принялась собирать улов обратно в ведро.

Колька, походя, вдруг с силой вытянул ее по спине мокрой, как жгут, рубахой.

– Колюха, я т-те дам! – заорал, угрожая отец.

– А чего она, раззява, у-у, мартышка!

Оба кинулись собирать улов в пустое ведро. Рыба билась и плескала в луже пролитой воды.

Девчонка, всхлипывая, продолжала собирать рыбу. Ерши, колючие и скользкие, точно испачканные пенной слюной, никак не хотели попадать в ведро, она уронила одного. И Колька пристально, со злобным презрением и с затаенной радостью мести следил за ней искоса. «Смотри же, я задам тебе нынче», – читалось в его взгляде.

– Чего ты ее? – спросил из-за спины Иван.

– А пусть не лезет. Путается под ногами... Богат улов-то...

И в ведро издалека один за другим полетели окуни, красноперки.

– Что-й-то рано он у тебя волю взял, – степенно заметил Жуку лобастый военный, с силой растирая затекшую от долгого сидения ногу. – Вольный казак, пятки назад! Она тоже мне не кое-кто, племянница!

– А и девка – яд, – с мрачной серьезностью ответил чернявый с тоской глядя на пустую бутылку в кошеле. – Пла-ачет, сват, все-то плачет... Горе с ней горькое.

– Плачет?

– И-и, ручьем разливается...

– А чего плачет-то?

– Да вот возьми ее, не говори. Ай, по матери? То и дело, то и дело. Она ее пло-охонькую родила, Марья-то. Я брал ее с дитем, думал, не жилица девка-то будет. Он мне, чужой довесок-то, ни к чему уже и тогда был. А она, Марья-то, вперед ее убралась на тот свет. Вот и возьми, судьба... Да и эта – не жилица, по всему видать, тоже уберется. А все корми, следи за ней. Наряды опять-таки. А при сегодняшнем времени оно, ох, как накладно.

– Да ты что, или объела, пожалел?

– Что ты, «пожалел». Не об этом же толкую, а хворая, недолга... Напрасная же обуза. Марья и сама, упокойница, намекала, мол: Бог-то ее приберет, руки развяжет.

– Так и говорила?

– Ну, не прямо так, конечно... Нежеланная была, надрывалась от крика... Синела аж. После уж грыжу у нее нашли, от ору-то. Она ведь выгоняла ее, девку, из живота, Марья-то, выгоняла – а не выгнала и родила вот всё равно. Нагуляла.

– А эта живет, вот и молодец девка! Помощница тебе будет.

– Пусть живет, живет – не жалко...

– А все – не своя.

– Именно. Чужая кровь.

– А жалко бывает, совесть не заедает?

Жук всхлипнул:

– И-и, еще как жалко-то другой раз бывает, ведь ребенок, ангельская душка. Чем она виновата,

виновата не она же, сват... А тут за ними догляди, попробуй... Она теперь молодые да ранние...

– Акселераты.

– Во!

– А вчера мой-то, Колюха-то, что удумал. Залез на перемет во дворе. На перемет, ведь вон куда! Залез в гнездо, достает и бьет ласточек, птенцов-то об землю. Вынет птенца и хряп, вынет и – оп-па... Я увидел и обмер, сват, ведь это – к пожару. Она, ласточка, старики еще сказывали, как будто в клюве приносит огонь-то. Никто не знает как – чистой или нечистой силой, но она это делает, это точно. Много раз убеждались: разорить ласточкино гнездо – к пожару. То ли находит где-то огонь, то ли беспричинно двор загорается, ни с того, ни с сего. И чудно и страшно.

– Мстит, значит. Язычество какое. Заскорузлое...

– Девка увидала, охнула, сердешная... (А он нарочно при ней). Она побледнела и в обморок... Я его схватил, мало-мало не придушил... Девке-то проходу ведь вовсе не дает. Что он к ней прилип... Другой раз, думаю, до смерти ведь зашиплет...

– А ты б его гужой поучил маленько. Привязал к телеге – и гужой. Помнишь, как нас-то учили. Вот и вышли людьми. Есть гужа-то?

– Сёк. Чем только не пробовал. Аж цепью от ведра колодезного. Он смотрит волком и молчит. Спрашиваю, мол, будешь еще? – «Буду!» Волчонок ещё тот...

– Да, сложный характер у твоего охотника. Уши-то, глянь, торчком, и впрямь того, волчьи...

Оба захохотали. Жук потрогал и свои уши.

– В меня! Уж как, сват, сек его, до рвоты. Рвет его, а мне жаль, ведь родной.

– Свое не пахнет, дело известное. А эта, говоришь, все плачет?

– Плачет, горе горькое, – Жук даже всхлипнул – дыхание затыкал пьяный насморк. – Хоть померла бы, – сказал он шепотом, – а то-бьяда будет... Забьет, будет грех. Ведь дыху не дает, проходу нет ей от Кольки-то.

– Ну, не забьет, подрастет, будет она и тебе за хозяйку. Штаны вам всем перестирала, мужикам... А то это, воняет, поди, от вас, как от козлов, а?

– Ты брось эти шутки. Кой хрен, помощница. От нее и от Марьи-то, не обижайся, толку мало было. Нет и нет, от неё нормальное дите и не могло получиться. Ты ж не глядел за ней, не навещал, не писал, она сама, без тебя, без старшего догляда вырастала. Междворка, плут, индерша. Не баба, а конь с яйцами. С кем она только не полежала, ой, не пересчитать! Не знала сама, с кем и нажила дите, ведь это – что? Порода не та.

– Ты мне это брось!

– Не та порода...

– Ну, считай, уязвил ты меня... А девчонку я не заберу. Некуда. Не-ку-да... Деньги дам, а в город не возьму. На то причины есть, говорить не хочу. Деньги дам. А вот он, Колюха-то твой, неделю будет из шкуры занозы таскать, если не бросит свои выходки.

– А не уступит, спуску не даст... Доймет ведь девку-то... Дождет, озорник. Гиблое дело! Не вяжись и ты, пожалеешь.

– Даже так? «Пожалеешь»! Покается. Глуп еще. А чего же он от нее хочет? Или добивается чего, ты не вникал?

– Покается, сват, да, видать, поздно будет. Озорник, на днях у соседки из сушил и гнезда несущки все яйца на болтуны поменял и самогон на яйца выменял. А где – не говорит. Так напоил старшего, что тот облевался. Соседка рассказала. Я за уши его. Так он соседке дрожжей в нужник: зачем сказала, не говори отцу, что яйца все под чистоган выгреб! Так и поплыл, нужник-то. Даже завозня в дерьме потонула.

– Значит, много.

– Что много?

– Много сушил обошёл, не у одной соседки побывал...

– Тебе всё шутки, твои уже взрослые, на свои яйца сели уже. В гнездах своих. А эти? На моих сидят яйцах, вот так. И ведь трое их! Забери её в город, прошу...

– Опять двадцать пять! Ты – с своим, а он с своим!

...Собрав остатки ужина и тщательно уложив в кошель пакет, пустую бутылку зеленого стекла, остатки снеди, мужики не спеша помылись с мылом в озере, ныряя и оставляя пенистые белые следы, пугая пиявок в чистой воде. Потом переоделись в сухое и потянулись наверх по склону, туда, где едва заметно виднелись верхушки топей и огромная тарелка для приема телепередач – словно инопланетный корабль, упавший с небес, ужаснувшись всей этой нищетой и разрухой. Белая тарелка на фоне аспидной крыши и темного неба. Упала инопланетная тарелка, пропали астронавты. Не разбились, а растворились, пропали, исчезли в этой разрухе, погибли в этом раздрае покинутой всеми сельской жизни. Зависть, ненависть или равнодушие.

Звонит телефон. Звонит и звонит. Но военный, глядя на теле-тарелку задумался.

– О, Вас вызывает Таймыр, – кричит ему Жук.

Военный спохватывается. Лезет в запасной карман, достаёт мерцающий мобильник. Заговаривает.

– Да-а, – тянет Жук загадочно, глядя на высокого, шедшего обочь и заговорившего по мобильному телефону. – Да-а... Техника меняется, семимильными шагает шагами, техника-то. Гляну, вон по деревне идет и разговаривает-звонит по телефону, вот оно как, а раньше? С самой Москвой разговариваешь? Техника вперед ушла, да-алеко ушла. Без проводов разговаривает. И у нас тут с телефоном ходит Нюша простая. Простая – это сумасшедшая.

– ...А люди те же, – убирая телефон в карман, угрюмо отвечал военный, – что и сто лет назад. Даже и еще хуже стали. Люди-то.

– Ты про меня, что ль, – осклабился Жук.

– Ну-у, нет, а так, вообще... Про сына твоего.

– Сына не тронь!

– Ну, ну, успокойся.

Не отставая, ловят шаг ребята, чтобы в ногу попасть, так легче идти. Легче было нести промокший тяжёлый бредень. Чтобы он не раскачивался и не томил тяжестью толчков. Младший уклонялся от болтающихся и угрожающих ударить всей своей блестящей тяжестью новых грузил. Девочка с ведром далеко и безнадежно отстала, задыхаясь, не попевала за ними.

Она все оглядывалась на грозу, уже прошедшую стороной и всё-то угрожавшую дальними раскатами, всполохами молний – зарницами.

То беззвучно, то с опозданиями погромыхивало ещё и здесь, и там. И неожиданно стал налетать сырой ветер, толкать в спину.

...Девочка шла одна, молча и так, как если бы не на земле уже была. Шла еле-еле, как плыла по холму, одна в целом мире. Ветер менял направление, обдувал и прижимал к телу ее мокрое синее платье, повторяя все изгибы ее детского тельца. След от самолета совсем растаял в вышине. Она подняла голову и с изумленной радостью, остановившись, увидела, что за тучами, еще выше туч – стало опять и светло, и чисто. Как-то особенно засияло лазоревое небо. И даже низкие тяжелые грозовые тучи не застыт эту солнечную райскую высоту, высокий простор, в который тянутся, прорастая вверх, тополя.

Она пристально смотрела с какой-то отчаянной тоской, долго-долго, из-под руки. И столпы света установились-встали так крепко, так широко и прочно, как на старых писаных иконах. Столпами светлыми, точно в храме ярким днём, ударили вниз струи света, опять заиграли в озере. Она стояла и смотрела как зачарованная в это светлое пространство между тучами и солнцем.

Грохнул-прогромыхал вдали гром, но уже не грозно, а лениво, протяжно, раскатилось кругом эхо, словно отъезжал с грохотом пустой грузовой вагон по железной дороге...

– ...Как святая! – прищурившись, то ли в шутку, то ли всерьёз, сказал военный. – Святая девчонка-то...

Из ведра торчал щучий хвост.

«СИДЕЛЕЦ»

Рассказ

Жара в глухой рязанской деревушке Смирновке. Весь август «сушит». Осыпается переспелая ржица, и редко-редко дожди, как по заказу. В полях кое-где проглядываются комбайны, подбирают валки. Солнце жжет нещадно.

Перед окнами деревенского дома остановилась лошаденка соловой масти, хилая. В телеге мешки с зерном и четверо мужиков. Дед Степан и дед Федор мне известны, а других я видел впервые. Один чернявый, похожий на татарина, другой рыжий. Обоим лет по сорок.

– Бабка дома? – не слезая с телеги, спросил рыжий.

– Дома, – ответил я из растворенного окна.

– Позови-ка ее, больно нужна. На минутку.

Я позвал бабку, вышел сам и стоял у калитки. Мужики привезли пшеницу, хотели толкнуть. Бабка подошла к телеге, что-то тихо спросила, да видать смекнула, что зерно ворованное, с поля из-под комбайна, и заспешила в дом, громко повторяя «нету», «нету», «нету»...

– Ты не думай, что ворованное, – сказал чернявый. – Нам сегодня зарплату дали пшеницей...

– Правда? – уже уходя, но все еще не веря, говорила бабка. – Не врите?

– Вот те крест! – искренне говорил рыжий мужик.

– Денег в кассе вот уже два месяца нету, Поля, – подал голос дед Степан. – Дали вот, со склада возьем...

– Тада давайте... Давайте, я возьму курям...

Татарин щелкнул по кадыку и подмигнул. Рыжий цыкнул на него, чего, мол, потешаешься. Ловко схватили мешок за хохол и легко затащили пшеницу в сенцы.

В чуланчике мужики и бабка о чем-то потолковали. Через минуту-другую все четверо сидели за столом, чернявый и рыжий друг против друга, дед Степан и Федор – рядышком, пили самогон и закусывали малосольными огурцами, нарезанными колесиками. Ели они торопясь, но с разговором. И хотя было воскресенье, их отпустили «на часик» от комбайна, чтоб отвезти домой зерно, в соседнее село, страда ждать не любит...

– ...А совхозное я бы не взяла, нет и нет... – говорила бабка, подрезая свежих помидоров в тарелку. Рыжий зевал и не спускал глаз с бутылки.

– Раньше я совхозное не брала, да и теперь боюсь...

– Да чего теперь бояться, бабуля, ты что. Теперь – свобода...

Допив бутылку, мужики набрали в карманы яблок из кошелки в избе. Вторую чернявый поставил в боковой карман пиджака. На пропыленных волосах мужиков – ость и остатки половы, рубахи высохли и белесы от соли, лица почернели тем грязным загаром, въевшимся до костей, который бывает только у комбайнеров.

По улице с грохотом прокатил ларь с хлебом. Летом возят хлеб на лошади в телеге. Буханки килограмма на два укладываются в деревянный ящик – ларь, и возит его старик. Он, как мимо бабкиных окон едет, орет что есть мочи: «Эй, невеста, хлеб привез!» А тут

что-то проехал молчком, лошадь, что ли, увидел у калитки...

– Ой, ой, – заспешила бабка, – без хлеба осталась. Ну-ка вас, мужики...

– Сколько он парился-то? – спросил дед Степан, курия вонючий самосад и поглядывая вслед уезжавшему хлебовозу.

– Давали восемь или десять лет, – отвечал Федор, сосед по скамейке. – Говорят, что сидел зазря...

– А ты слушай больше! – растягивая слова, возражал дед Степан. – Зазря тогда никого не сажали. Я-то хорошо помню, как его забирали. На лугах косили. Жарило и палило. И Иван этот с нами косил. Глядь – мерин! Черный-пречерный, аж в мыле, мерин-то. В беговых дрожках двое энкавэдэшников. Один – офицер, другой – с лычками. «Кто тут такой-то такой-то?!» Мы косы побросали. Подходим. Иван аж побелел. Беду почувял. Портчонки подтягивает, рубашонку надел... «Я, – говорит, – такой-то и такой-то...» – «Садись, поехали». Прокатили с ветерком, растак твою так-то! Сели и покати к парому на переправу... А народу собралось – туча. Тут девки, и парни, и бабы, – словом, все, кто косил за рекой и сено согребал. Все тут собрались, галдеж... А сына его, Максима, дома взяли. Вернулся лет через пять...

– Говорят, и его домой завозили за харчишками, – спокойным голосом говорил дед Степан.

– Кой там! А чего он может взять летом в доме? Прокислое молоко в погребке? – Дед Федор горячился, будто это было вчера. Молодые мужики с сочным треском кусали яблоки. – Эх и конь в дрожках был запряжен! И военные лихие, много не говорили... Видать, было за что. Зазря не забрали

бы. За двадцать километров ехали по такой жаре... Нет, это он что-нибудь у немцев делал.

– Да будь болтать-то, – неожиданно вступилась бабка. – Вот как выпьют, так язык без костей.

– Да чего там, – вступил в разговор татарин. – А мой дядя из-за бабы погорел. Связался будто бы с бабой во время войны, а потом уехал на родину к первой жене. Ну, та возьми на него донос...

– Ну, донос-то донос, а разговор-то о чем идет?

– Как забирали, и виновен ли был...

– Чужая душа – потемки, – вставая со скамьи, сказал дед Степан. – Давно было да прошло. Об этом недавно стали говорить. Молчали.

Старики покурили... Почему-то все курили самосад. И те, что помоложе, – тоже.

– А помнишь, – тихо поталкивая в бок деда Степана, сказал дед Федор, – а помнишь Аксютин? За что его тада посадили? Собрались в лес, дело-то зимой было. Аксютин явился в правление колхоза с топором. А тада портреты больших начальников развешивали на стенах правления...

– Это почему «тада», и сейчас развешивают...

– Ну, так ты слушай... Пришел Аксютин, а выпимши. А самогоночка-то, известное дело, на месте не сидит, на язык просится. Посмотрел он на портрет депутата Шкиряпова и сказал: «Ну и лысина! А морда-то – топор об нее почистить...» Только и сказал... А тут и были-то трое мужиков да счетовод. Раненько было, собрались на наряд.

– Сколь ему сунули?

– Кажись, десять... Так и помер там, в тюряге. За язык пропал...

Бабушка, у которой почему-то вдруг испортилось настроение, стала прогонять гостей, говоря: «Гоняйте, гоняйте... Будя языки-то чесать. А то я из-за вас без хлеба останусь». «Ну-ка их, – ворчала бабка, когда гости «убрались». – Вот и ходют и ходют, а чево ходют. Бойся теперь из-за этого мешка...»

А чего «бойся», деревня вся вымерла напрочь, заброшена людьми и Богом. Если проедет кто-то на лошади или на тракторе – все выходят на улицу или растворяют окна. Это, разумеется, летом. Зимой по деревне ни пройти, ни проехать. На тракторных санях везут сено не по деревне, а мимо, в объезд. Зимой вообще никто не живет, а летом бывшие жители приезжают в свои дома, и моя бабушка тоже. «Я тут одна-то сама себе хозяйка, – хвалилась моя бабка, – никто меня не понуждает, как барыня!»

Не прошло и получаса, хлебовоз едет в обратную сторону, орет что есть мочи: «Невеста, невеста!»

Я хватаю большую сумку, бабка одергивает меня: «Я сама, сама...» Потом уж я вспомнил, как долго, оживленно и громко говорили они, когда бывали одни. Им уже по семьдесят пять лет, оба плохо слышат и видят и, как в стихотворении, «один к другому» льнут.

– Что-то он тебя невестой зовет? – спросил я бабку.

– Невестой-то? – с улыбкой, с какой-то трогательной готовностью говорила бабка, – да тада давно играли, на посиделках он за мной бегал...

Я с каким-то особым интересом стал смотреть на этого старика. Никто его почему-то по имени не звал, а говорили «хлебовоз». Дед Иван на удивление чисто одет,

всегда курит махорку-самосад. Я как-то предложил ему «Яву». Он не докурил сигарету; сначала отломил фильтр, а потом и вовсе кинул. Бросил на траву и, вытягивая из кармана кисет, с отвращением сказал: «Вонючие, как пакля. Я их сроду не покупаю, не накуриваюсь. Баловство одно. С малолетства самосад курю. Тятка эх и драл меня за эту курятину. А я тайком курил».

– Сиделец, – отзывалась о нем бабушка ласково. – Еще при Сталине... Его и сына...

– А за что же он сидел? – приставал я.

– А Бог его знает... Сам не говорит, а народ вон всякое болтает... Кто бает – за рожь, кто – чево-то сказал. Про Сталина ли, не знаю...

Слова эти запали. Хотелось узнать: за что же сидели когда-то эти дремучие старики, по виду, по повадкам – муху не обидят. Деньги, например, за хлеб ему кидали в картуз, а он царственно восседал на грядке телеги, выкинув ногу в стоптанном сапоге, и беспрестанно курил. Деньги не считал, верно знал, что не обманут – свои...

– Эй, невеста!

– Я схожу, – опередил я бабку.

Бабка затеяла печь блинчики – тонкие блины из пшена. Затеяла она их вчера, а сегодня из-за незваных гостей уже не надеялась купить хлеб, принялась стряпать. Хотела накормить меня и идти обирать колорадских жуков.

– А где Пелагея-то? – удивился хлебовоз. – Ай ушла куда?

– Блины печет, – отвечал я.

– Когда приехал-то?

– Сегодня. Утром.

– У бабки-то, похощь, есть... Гости были? – подмигнув, спросил дед и посмотрел с тоской мимо меня на окна.

– У меня есть, – сказал я. – Пойдем... Старик тяжело спрыгнул с телеги, кинул еще зеленый свежий клевер лошади, развязал чресседельник, поправил косившую упряжь, долго раздумывал. И все же пошел за мной.

Печь уже жарко топилась, бабка раскраснелась, с ухватом в руках с прищуром смотрела на гостя.

– Чево приперся-то? – неожиданно грубо спросила она хлебозова. – Ай с похмела?

– Да я не к тебе, к внуку, больно малый хорош...

– Он-то малый, да ты больно старый. На стаканчике не остановишься.

Я решил действовать быстро и решительно: достал из рюкзака поллитровку, заготовленную еще в Москве, чуял – будут гости. Каждое лето были...

– Пашанишная? – удивился дед, все еще искоса бросая взгляды на бабку и не решаясь подсесть к столу. – У нас такой нету. Очищенная.

– Из Москвы привез, – сказал я и раскапывал в рюкзаке завалыши колбасы. – Знал, что тут не укупишь.

– У нас давно запретили, – понуро и решительно устроился на табурете дед, – дескать, пить будут – работу позабросят... Тумаки...

Дед Иван тянул из стакана медленно, с удовольствием. А когда выпил, не стал закусывать сразу, а только понюхал хлеб. Бабка мазала блинчики гусиным перышком, масла не жалела. Искоса поглядывала на старика.

– Чево не закусываешь-то? – по-иному, уже добрее опросила бабка. – Вот сколько его знаю, как выпьет – не закусывает.

– Погоди, Поля, пусть пожжет... Поспею, куда торопиться-

то... Ну-ка, малый, глянь-ка, кобылка не ушла?

Я сунулся к окну. Кобыла карей масти как вкопанная стояла, понурившись, истово махая хвостом. Был третий час в начале, ее донимали оводы. Яркое августовское солнце заливало улицу, если можно назвать улицей два порядка сгнивших развалюх с продавленными крышами и пепелища, заросшие бурьяном. Домах в пяти жили приехавшие «на лето» пенсионеры с внучками и внучатами. Эта молодежь плохо знала друг друга или не знала вовсе. Опоры с проводами покосились и грозили неприятностью. Улица по пояс заросла бурьяном и желтела рябинником. В заброшенных садах задичали яблони, стеной рос терновник.

Дед Иван пожевал сыр и тайком, сплюнув в ладошку, бросил под стол. Больше он закуски не касался, но повеселел, закурил и заговорил с бабкой про пенсию, потом о порядках в совхозе, о колорадских жуках, коих не берет отравка, распыляемая самолетами.

– Ты за что же сидел тогда? – неожиданно смело спросила бабка, закончив печь блины.

– А за дело, – ответил дед. – Теперь вот кого ни послушаешь – «ни за что гноили», «это Сталин сажал»... А я так скажу, мало кто сидел ни за что. Не болтай, не вору, раз начальство не велит. Меня в сорок седьмом годе послали сеять рожь. Ну, думаю себе, ржицы хапну, хоть в карманах... Тада, малый, еще не мололи, а парили в чугунах и ели с молоком, – пояснил он мне. – Голод был весной несказанный. У кого коровенки не было – пухли с голоду. В поле грязь стояла. Решили не ждать, когда просохнет, послали сеять с лукошка, вручную. С повозки свалили нам мешков

пять и уехали. Я сею, а Максимка мой подтаскивает, ест рожь горстями, а у меня слезы на глазах. «Эх, думаю, была не была...» Ну, отсеялись. Я с полмешка оставил себе, сыну с полпуда. Огородами принесли, а сосед доказал. Мне семь, мальцу пять припаяли. Оба не досидели. Сталин умер, нас выпустили. Мог ли я говорить, что ни за что осудили? Нет, не могу. Тада время-то было какое: голод, надо сеять, а мы несем домой. Теперь вот тащат, попадутся – штраф. А сидели со мной самые что ни на есть душегубы. Ночью на моих глазах зарубили топором соседа на нарах...

– Ой, ой, – бабка перестала жевать блинцы. – Да правда, что ли?

– Ей-Богу, не брешу. Вот крест на пузе. Ой и шпаны-ы нагледелся. Там всякие. Законники, мокрушники, суки; меня к мужикам причислили сразу. Так и досиживал в мужиках.

– А Аксютин-то, Сергей-то Кривой?.. – спросила бабка. – Он правда ни за что?

– Не болтай, раз не велят, – оборвал бабку дед Иван. – Теперь вот все болтают, доболтаются, опять сажать будут. Отсидят, будут говорят «ни за что». А чево там! В Москве, слышь, малый, правда, что с пушек по людям палят? Во! С пулеметов в людей стреляют, это называется за народ стоят. Шпана, она шпана и есть. В голодовку че-

ловек человека убивал за буханку хлеба. Голодные были. А сейчас что? Ведь сы-ты-е...

– Ты бы не пил больше, а то не доедешь. Как в прошлом году свалишься с телеги... Эх ты, сиделец...

Дед Иван засмеялся, допил остатки. Что-то подумал, покачал головой. И осторожно наклонившись над стопкой блинчиков, жевал нехотя. Поев, завернул самокрутку и так пыхнул, затянувшись, что бабка закашлялась.

– Ты бы не смолил тута, двигайся вон к печи да заслонку открой. Новые шторы повесила к приезду внука, теперь пропали, пожелтеют...

– Ничаво, – спокойно говорил дед Иван. – Ничаво, Поля. Дверь открой и окно.

– Мухи летят. Езжай-ка, езжай с Богом. Да гляди не засыпай. Когда хлеб-то привезешь?

– Хлеб-то? Да пойдем-ка, я ведь тебе оставил, а другой раз – дня через два, не раньше. Ну, прощайте, спасибо...

Дед Иван передал мне два увесистых хлеба, наладил упряжь, развернул кобылу, сел в телегу и поехал с песней:

Не забыть нам годы боевые,

Не забыть нам тюрьмы-лагеря...

Бабка глядела ему вслед из-под ладошки и говорила с тихой нежностью: «Эх, сиделец, сиделец...»

ВРЕМЯ «Ч»

Свежим летним днем шел тропинкой на крутую гору кустарниками орешника и молодых берез. Из орешника – лещуги лучшее удилище: легкое, гибкое, стройное. На вершине горы чувствовался порывистый ветер, ла-

скающий. Трепетали листья, звенели насекомые в траве. Тихо и спокойно окрест.

Шагая тропинкой, я прицеплял леску к удилищу. На пологих куртинках блестела трава, высокая и такая густая, что хотелось лечь

где-нибудь в тени и лежать, ни о чем не думать. Глядеть на небо с высокими белыми облаками. Помню по детству неповторимое впечатление: когда долго лежишь, глядя в небо, кажется, что возносишься... Закину удочку и лягу навзничь.

Клева не было. Воткнул удилице в сухую корягу ольхи, улегся в тени и задремал, нисколько не жалея, что рыбалка не удалась, день потерян. Время – не убито. Оно моё. Редко бываешь счастлив, несмотря ни на что. Вдруг совсем рядом мужской сердитый голос заставил вскочить. Поднявшись, привыкая глазами, полными синевы и солнца, к матушке-земле, стал смотреть, как маленький старичок потешно перебежал по дну овражка в сухой пойме: то жалостливо манил к себе кого-то, то нещадно ругал, материл.

На полянке в густой траве разглядел за его спиной хорошую, сытую козу пестрой в желтизну масти. В нынешние тяжелые времена, когда в деревне прокормиться можно лишь от трудов праведных, а держать коров уже нет сил, тут старики вспомнили про коз. Выпасали по два раза в день и пасли сами.

– Римма, Римма, – звал старик, – Риммочка, милочка... Хать твою, чертовка... Ну, поди сюда, ну поди... ко мне, разумница, кормилица... Забулдыга! Зараза! Зарезу и сожру!

Коза, не спуская со старика внимательного умного взгляда, жевала, пошевеливая бородашкой, уписывала траву, но стоило двинуться старику – и в одно мгновение кинулась она на дно оврага с водой. Старик тяжело дышал, видно, долго искал сорвавшуюся

с веревки бестию-козу. Размахнувшись широко, дед метнул палку, как при игре в городки. Рима прыснула вдоль ручья, как очумела, кинулась в кусты и без оглядки – к реке.

Недолго думая, я выломал из кустарника длинный прут, и мы оба двинулись на козу. Дед тяжело дышал, еле-еле тащил ноги по густой траве – Риммочка измотала его силы. Он тяжело опустился на кочку, снял картуз и вытер рукавом рубахи пот с лица.

– Сынок, на-ка палку, палкой ее, суку, падлу, коровенку ельцинскую...

Продравшись к мокрому и низкому берегу реки, «недокорова» остановилась, как бы размышляя. Увидев меня, метнулась к острову, густо поросшему осокой. Вода была неглубокая, родниковая и ледяная. И, чтобы добраться до островка, надо было снять обувь. Я снял кроссовки и, утопая до колен в грязной жиже, немея от холода, полез за Риммой.

Подошел дед, опершись на палку и тяжело дыша, вновь начал костерить козу.

Между тем я напористо, но без злости пробирался к островку, осторожно наступая на кочки... Коза оглянулась, дерзко шараялась на меня и в два прыжка мигом очутилась на другой стороне речонки.

– Сразу не подходи, сынок, ты этак, сызбоку... Похитрей... Ну, сука, это демон, не коза. Это не коза, а бес. Ты со своим, она – со своим. Все жилы она с меня вытянула. Бросить бы её, да внуков каждый год возят. А коровы где? Ни одной. Который год уже вся округа без коров. У двоих на три деревни, да и то к ним

записываться надо, така очередь. Мне – тьфу это молоко: детишек жалко, – садясь там, где стоял, и тоже снимая сапоги, исповедовался дед. – Курица – не птица, прапорщик – не офицер... Нет скотины – и коза не скотина... Смеёшься, а я, вот те крест, иной раз думаю, хоть бы пропала или утащили её, или, прости меня господи, сдохла, мать её-суку! Какой тебе смех...

На той стороне, куда я выбрался вслед за зверюгой, стоял особенняк какого-то дельца из «новых». Высокий со шпилем дом с двухглавым орлом на фасаде был огорожен непроницаемым забором высотой метров в шесть. И только ворота были сетчатые, временные. Сам делец, оплывший салом, ходил взад и вперед вдоль забора снаружи своей вотчины походкой тюленя. Время от времени он кидал палку бультерьеру, дразня и разыгрывая его.

Бультерьер, крупный, напористый, с желтыми подпалинами на черной, мощной груди и скулах, играл без азарта, словно одолжение делал. Это не нравилось хозяину, и едва появилась коза на его берегу, он кинул в неё палку: «Ату, Ричард, взять! Чужие!»

То, что случилось в следующее мгновение, не забыть до конца дней. Собака кинулась. Коза и вцепившийся в горло Ричард рухнули один на другого. Повиснув крепкими кривыми лапами и волочась по траве, пес рычал, а коза таскала его из последних сил, упираясь тонкими копытами в сырую землю, падая на колени и пытаясь подняться. Мы никак не могли добежать до забора по пересеченной местности. Ричард все теснее смыкал зубы на

козьем горле. И когда мы с «дельцом» рискнули растащить их, было поздно.

Яркие трусы из американского флага на владельце имения стали темны козьей кровью.

– Нож неси, нож неси, Лера, – кричал он кому-то, верно, жене. – Зубы разжимать! – кричал он молодой, в стрингах, бабёнке, но та играла воланчиком об забор и единственно, что сделала, перестала играть и подняла воланчик.

Делец дергал собаку, как тушу, за задние лапы, он весь колыхался от усилия, как грелка с водой. Наконец разняли. Я сел отдышаться, а делец поспешил укрыться с собакой за воротами. И вовремя: подоспел дед с выверутой сухой корчагой. Коза не вставала уже на колени, Ричард волок её как позорное и бессмысленное на этой земле стерво. Колени передних копыт подломились. Она выпадала, то ли сама, то ли Ричард играл ею. Дед не плакал, а побледнел и молча шёл с сухой орясиной на американские трусы и ракетку. Делец метнулся на свой участок. И задвинул электроприводом ворота. Не успели ни дед, ни я. За воротами владелец с породистым барбосом хрипло отдыхивались. Убежав в сарай и вернувшись с расчехленным ружьём, Лера вдруг начала истерически смеяться. Она угрожала ружьём за возможное вторжение в пределы своей вотчины и имела на то полное право. Я встал и шагнул к его воротам.

– Только сунься, – заорал владелец, меняясь в лице. Крик его сорвался на шёпот, рожа покраснела, второй подбородок трясся, – только сунься, перестреляю вас как бешеных собак!

Дед плакал и глядел в небо, будто молился.

...Вытаскивая и распутывая свою удочку, я по злобе сломал ее. Дед все еще возился на том берегу с козой:

– Римма, Риммочка... Встань, матушка... Ой, встань-поднимись, помрёт старуха от горя... Что же я старухе скажу? Не усмотрел, не уберег я тебя...

«Как по покойнику, – пришло мне в голову. – Чего уж он так...»

– ... И так будет со всяким, поняли, со всяким, кто приблизится! У меня как в Америке. Я работал в Америке в полиции! Я законы знаю.

– Заткнись, сказал я ему издалека. Ни ружья, ни собаки не помогут. Не психуй.

– Мы рулим, это наше время! За грибами и к реке теперь – по нашему разрешению. Только. За-

стрелю и буду прав. Застрелю как бешеных собак...

Лера хохотала в истерике.

– Время «Ч», – сказал я.

– Что? – завопил он, ты мне угрожаешь?

Я натялил кроссовки и, сматывая леску, побрел своей дорогой. Опасные подселяются соседи к деревне. Подселились уже...

– Время «Че-е», делюга! Грузите апельсины бочками.

Он заметался за решёткой ворот, как в клетке, верно, искал, чем метнуть в меня... И не находил.

Дед пытался приподнять подошную козу.

Два выстрела вверх и истошный крик: «Не подходи-и».

«Зачем этот цирк, – всё думалось мне... Зачем, ведь всё уже ясно... В России живём, не в Америке...»